**Политический дискурс как предмет политологической филологии**

В.З. Демьянков

**1. Понятие дискурса**

Дискурсом называют текст в его становлении перед мысленным взором интерпретатора. Дискурс состоит из предложений или их фрагментов, а содержание дискурса часто, хотя и не всегда, концентрируется вокруг некоторого «опорного» концепта, называемого «топиком дискурса», или «дискурсным топиком».

Логическое содержание отдельных предложений – компонентов дискурса – называется пропозициями; эти пропозиции связаны между собой логическими отношениями (конъюнкции, дизъюнкции, «если – то» и т.п.). Понимая дискурс, интерпретатор компонует элементарные пропозиции в общее значение, помещая новую информацию, содержащуюся в очередном интерпретируемом предложении, в рамки уже полученной промежуточной, или предварительной интерпретации, то есть:

– устанавливает различные связи внутри текста – анафорические, семантические (типа синонимических и антонимических), референциальные (отнесение имен и описаний к объектам реального или ментального мира) отношения, функциональную перспективу (тему высказывания и то, что о ней говорится) и т.п.;

– «погружает» новую информацию в тему дискурса.

В результате устраняется (если это необходимо) референтная неоднозначность, определяется коммуникативная цель каждого предложения и шаг за шагом выясняется драматургия всего дискурса.

По ходу такой интерпретации воссоздается – «реконструируется» – мысленный мир, в котором, по презумпции интерпретатора, автор конструировал дискурс и в котором описываются реальное и желаемое (пусть и не всегда достижимое), нереальное и т.п. положение дел. В этом мире мы находим характеристики действующих лиц, объектов, времени, обстоятельств событий (в частности, поступков действующих лиц) и т.п. Этот мысленный мир включает также домысливаемые интерпретатором (с его неповторимым жизненным опытом) детали и оценки.

Этим-то обстоятельством и пользуется автор дискурса, навязывая свое мнение адресату. Ведь пытаясь понять дискурс, интерпретатор хотя бы на миг переселяется в чужой мысленный мир. Опытный автор, особенно политик, предваряет такое речевое внушение подготовительной обработкой чужого сознания, с тем чтобы новое отношение к предмету гармонизировало с устоявшимися представлениями – осознанными или неосознанными. Расплывчатая семантика языка способствует гибкому внедрению в чужое сознание: новый взгляд модифицируется (это своеобразная мимикрия) под влиянием системы устоявшихся мнений интерпретатора, а заодно и меняет эту систему, ср. [Badaloni 1984, с.18].

**2. Политологическая филология**

Уже сама речь, как показал Э. Косериу [Coseriu 1987: 24], «политически нагруженна», поскольку является знаком солидарности с другими членами общества, употребляющими тот же язык. Иногда даже говорят, что язык – как посредующее звено между мыслью и действием – всегда был «важнейшим фактором для установления политического подавления, экономической и социальной дискриминации» [L. Miles 1995: IX]. Политический язык [1] отличается от обычного тем, что в нем:

– «политическая лексика» терминологична, а обычные, не чисто «политические» языковые знаки употребляются не всегда так же, как в обычном языке;

– специфичная структура дискурса – результат иногда очень своеобразных речевых приемов,

– специфична и реализация дискурса – звуковое или письменное его оформление. [2].

Политический дискурс может рассматриваться как минимум с трех точек зрения:

– чисто филологической – как любой другой текст; однако, «боковым зрением» исследователь смотрит на фон – политические и идеологические концепции, господствующие в мире интерпретатора,

– социопсихолингвистической – при измерении эффективности для достижении скрытых или явных, – но несомненно политических – целей говорящего,

– индивидуально-герменевтической – при выявлении личностных смыслов автора и/или интерпретатора дискурса в определенных обстоятельствах.

Ясно поэтому, что исследование политического дискурса лежит на пересечении разных дисциплин и связано с анализом формы, задач и содержания дискурса, употребляемого в определенных («политических») ситуациях, ср. [Bell 1995: 46]. Одна из этих дисциплин – политологическая филология – исследует, например, соотношение свойств дискурса с такими концептами, как «власть», «воздействие» и «авторитет». В отличие от «чистых» политологов, филологи рассматривают эти факторы только в связи с языковыми особенностями поведения говорящих и интерпретации их речи.

Политологическое литературоведение исследует макроструктуры политического дискурса: смену и мотивацию сюжетов, мотивов, жанров и т.п., – то есть, рассматривает дискурс с помощью литературоведческого инструментария.

Политологическая лингвистика занимается микроуровнем, ее предметом являются: а) синтактика, семантика и прагматика политических дискурсов, б) инсценировка и модели интерпретации этих дискурсов. В частности, именования политологически значимых концептов в политическом употреблении в сопоставлении с обыденным языком (ср. [Januschek ed. 1985]).

**3. Характеристики политического дискурса**

Далее мы попытаемся показать, что описание политического дискурса в чисто лингвистических терминах, без использования литературоведческих методов, неадекватно предмету: необходим более общий понятийный аппарат – политологической филологии. Особенно ясно это видно, когда пытаются охарактеризовать эффективность и полемичность политического дискурса.

1. Оценочность и агрессивность политического дискурса

Поскольку термины политический и моральный обладают оценочностью [3], в лингвистическом исследовании всегда фигурируют соображения внелингвистические [4].

Так, когда пытаются охарактеризовать особенности «тоталитаристского» дискурса, неизбежно вводят в описание этические термины, например, по Х. Медеру (цит. по [Martinez Albertos 1987: 78]):

– «ораторство»: доминирует декламаторский стиль воззвания,

– пропагандистский триумфализм,

– идеологизация всего, о чем говорится, расширительное употребление понятий, в ущерб логике,

– преувеличенная абстракция и наукообразие,

– повышенная критичность и «пламенность»,

– лозунговость, пристрастие к заклинаниям,

– агитаторский задор,

– превалирование «Сверх-Я»,

– формализм партийности,

– претензия на абсолютную истину.

Эти свойства проявляют полемичность, вообще присущую политическому дискурсу и отличающую его от других видов речи. Эта полемичность сказывается, например, на выборе слов [J. Garcia Santos 1987: 91] и представляет собой перенесение военных действий с поля боя на театральные подмостки. Такая сублимация агрессивности заложена (по мнению некоторых социальных психологов) в человеческой природе.

Итак, полемичность политической речи – своеобразная театрализованная агрессия. Направлена полемичность на внушение отрицательного отношения к политическим противникам говорящего, на навязывание (в качестве наиболее естественных и бесспорных) иных ценностей и оценок. Вот почему термины, оцениваемые позитивно сторонниками одних взглядов, воспринимаются негативно, порой даже как прямое оскорбление, другими (ср. коммунизм, фашизм, демократия) [5].

Этим же объясняется и своеобразная “политическая диглоссия” [Wierzbicka 1995: 190] тоталитарного общества, когда имеется как бы два разных языка – язык официальной пропаганды и обычный. Термины одного языка в рамках другого употреблялись разве что с полярно противоположной оценкой или изгонялись из узуса вообще. Например, про пьяного грязно одетого человека в Москве можно было услышать: «Во, поперся гегемон». Говоря в другом, “аполитичном”, регистре, мы переходим из атмосферы агрессивности в нормальную, неконфронтирующую.

Выявить оценки, явно или скрыто поданные в политическом дискурсе, можно, анализируя, например, следующие группы высказываний (ср. [Schrotta, Visotschnig 1982: 126]):

– констатации и предписания действовать,

– скрытые высказывания, подаваемые в виде вопросов,

– ответы на избранные вопросы (установив, на какие именно вопросы данный дискурс отвечает, а какие оставляет без ответа);

– трактовки и описания проблем,

– описание решения проблем, стоящих перед обществом: в позитивных терминах, «конструктивно» («мы должны сделать то-то и то-то»),

– или негативно («нам не подходит то-то и то-то», «так жить нельзя»),

– формулировки идей, автору представляющихся новаторскими,

– высказывания, подающие общие истины: как результат размышлений, как несомненная данность «от бога» (God's truth) или как предмет для выявления причин этой данности;

– запросы и требования к представителям власти,

– призывы способствовать тому или иному решению и предложение помощи и т.п.

**3.2. Эффективность политического дискурса**

Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества – необходимость «политически правильных» действий и/или оценок. Иначе говоря, цель политического дискурса – не описать (то есть, не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию [Bayley 1985: 104]. Поэтому эффективность политического дискурса можно определить относительно этой цели.

Речь политика (за некоторыми исключениями) оперирует символами [Rathmayr 1995: 211], а ее успех предопределяется тем, насколько эти символы созвучны массовому сознанию: политик должен уметь затронуть нужную струну в этом сознании; высказывания политика должны укладываться во «вселенную» мнений и оценок (то есть, во все множество внутренних миров) его адресатов, «потребителей» политического дискурса.

Далеко не всегда такое внушение выглядит как аргументация: пытаясь привлечь слушателей на свою сторону, не всегда прибегают к логически связным аргументам. Иногда достаточно просто дать понять, что позиция, в пользу которой выступает пропонент, лежит в интересах адресата.

Защищая эти интересы, можно еще воздействовать на эмоции, играть на чувстве долга, на других моральных установках. (Впрочем, все это может так и не найти отзыва в душе недостаточно подготовленного интерпретатора.) Еще более хитрый ход – когда, выдвигая доводы в присутствии кого-либо, вовсе не рассчитывают прямолинейно воздействовать на чье-либо сознание, а просто размышляют вслух при свидетелях; или, скажем, выдвигая доводы в пользу того или иного положения, пытаются – от противного – убедить в том, что совершенно противоположно тезису, и т.п.

Любой дискурс, не только политический, по своему характеру направленный на внушение, учитывает систему взглядов потенциального интерпретатора с целью модифицировать намерения, мнения и мотивировку действий аудитории. Как в свое время отмечал А.Шопенгауэр, искусство убеждения состоит в умелом использовании едва заметно соприкасающихся понятий человека. Именно благодаря этому и совершаются неожиданные переходы от одних убеждений к другим, иногда вопреки ожиданиям самого говорящего [Schopenhauer 1819/73, с. 58].

Успех внушения зависит, как минимум, от установок по отношению к пропоненту, к сообщению в речи как таковому и к референтному объекту [Morik 1982, с.44].

Первый вид установок характеризует степень доверчивости, симпатии к пропоненту, а завоевание выгодных позиций в этой области зависит от искусства говорящего и от характера реципиента (ср. патологическую доверчивость на одном полюсе и патологическую подозрительность на другом). Изменить установки адресата в нужную сторону можно, в частности, и удачно скомпоновав свою речь, поместив защищаемое положение в нужное место дискурса. Только создав у адресата ощущение добровольного приятия чужого мнения, заинтересованности, актуальности, истинности и удовлетворенности, оратор может добиться успеха в этом внушении [Grac 1985, с.16]. Люди всегда чего-то ожидают от речи своих собеседников, что сказывается на принятии или отклонении внушаемых точек зрения. Речевое поведение, нарушающее нормативные ожидания уместных видов поведения, может уменьшить эффективность воздействия (если неожиданность неприятна для реципиента) или резко увеличить ее – когда для адресата неожиданно происходит нечто более приятное, чем ожидается в норме.

Различаются ситуации с пассивным восприятием, с активным участием и с сопротивлением внушению со стороны адресата.

При пассивном восприятии внушения адресаты ожидают, что уровень опасений, глубина затрагиваемых мнений и интенсивность речевого внушения будут соответствовать норме. Лица, пользующиеся большим доверием, могут тогда обойтись и малоинтенсивными средствами, резервируя более сильные средства только на случай, когда нужно ускорить воздействие. Остальным же пропонентам показаны средства только малой интенсивности. Кроме того, от мужчин обычно ожидают более интенсивных средств, а от женщин – малоинтенсивных. Нарушения этой нормы – речевая вялость мужчин и неадекватная грубость и прямолинейность женщин, – шокируя аудиторию, снижают эффект воздействия. А страх, вызываемый сообщением о том, что неприятие внушаемого тезиса приведет к опасным для адресата последствиям, часто способствует большей восприимчивости к различным степеням интенсивности воздействия: наибольшая восприимчивость тогда бывает к малоинтенсивным средствам, а наименьшая – к высокоинтенсивным. Причем малоинтенсивная атака более эффективна для преодоления сопротивления внушению, к которому прибегают после поддерживающей, опровергающей или смешанной предподготовки.

В ситуации с активным восприятием внушения реципиент как бы помогает убедить себя, особенно если он надеется, что все происходит в его интересах. Наблюдается прямое соотношение между интенсивностью используемых речевых средств в активно осуществляемой атаке и преодолением сопротивления, являющегося результатом поддерживающей, опровергающей или смешанной предподготовки.

Когда же адресат активно сопротивляется внушению, имеем большое разнообразие случаев. Если имела место предварительная обработка, «внушительность» основной атаки обратно пропорциональна эффективности подготавливающих высказываний. Опровергающие предварительные действия исподволь предупреждают адресата о природе предстоящих атак. Поэтому, если атакующие высказывания не нарушают ожиданий, созданных опровергающим предварительным действием, сопротивляемость внушению бывает максимальной. Если же языковые свойства атакующих высказываний нарушают ожидания, выработанные в результате «опровергательной подготовки» (либо в позитивную, либо в негативную сторону), сопротивляемость уменьшается.

Когда адресату предъявляют более одного довода в пользу одного и того же тезиса, оправданность или неоправданность ожиданий при первом доводе воздействует на принятие второго довода. Поэтому, если речевые ожидания нарушены позитивно в результате первого довода, то этот довод становится внушительным, но изменение отношения к исходной позиции происходит только после предъявления последующих доводов, поддерживающих все ту же позицию, направленную против сложившейся установки. Когда же речевые ожидания в результате первого довода нарушены в отрицательную сторону, этот довод внушительным не бывает, но зато адресат более склонен поверить аргументам из последующей речи, аргументирующей в пользу того же тезиса, направленного против сложившейся установки (подробнее см. [Grac 1985]).

**3.3. Отстаивание точки зрения в политическом дискурсе**

Итак, политический дискурс, чтобы быть эффективным, должен строиться в соответствии с определенными требованиями военных действий. Выступающие обычно предполагают, что адресат знает, к какому лагерю относится, какую роль играет, в чем эта роль состоит и – не в последнюю очередь – за какое положение выступает («аффирмация») и против какого положения и какой партии или какого мнения («негация»), ср. [Grunert, Kalivoda 1983: 75]. Принадлежность к определенной партии заставляет говорящего

– с самого начала указать конкретный повод для выступления, мотив «я говорю не потому, что мне хочется поговорить, а потому, что так надо»;

– подчеркнуть “репрезентативность” своего выступления, указав, от лица какой партии, фракции или группировки высказывается данное мнение, – мотив «нас много»; поскольку коллективное действие более зрелищно, чем отдельное выступление, часто предусматриваются поддерживающие действия со стороны единомышленников;

– избегать проявления личностных мотивов и намерений, тогда подчеркивается социальная значимость и ответственность, социальная ангажированность выступления – мотив «я представляю интересы всего общества в целом» (ср. [Volmert 1989: 23]).

Как и на поле боя, политический дискурс нацелен на уничтожение «боевой мощи» противника – вооружения (то есть мнений и аргументов) и личного состава (дискредитация личности оппонента).

Одним из средств уничтожения противника в политическом дебате является высмеивание противника. Смех вообще, по мнению многих теоретиков (напр., А. Бергсона), проявляет неосознанное желание унизить противника, а тем самым откорректировать его поведение. Такая направленность осознанно эксплуатировалась в политических дебатах еще со времен Римской империи. Об этом свидетельствуют обличительные речи Цицерона, в которых высмеиваются даже интимные характеристики противника, вообще говоря, не имеющие прямого отношения к политике. По [Corbeill 1996: 4], оратор «входит в сговор» со слушателем, стремясь исключить из игры своего политического оппонента как не заслуживающего никакого положительного внимания. Много поучительных примеров такого способа уничтожить противника находим мы у В.И. Ленина.

Поскольку высмеивание находится на грани этически допустимого, можно предположить, что в наибольшей степени оскорбительный юмор воспринимается обществом как уместный только в самый критический период; а в «нормальные» периоды такой жанр вряд ли допустим.

В более же мягкой форме исключают противника из игры, когда говорят не о личности (аргументируя ad hominem), а об ошибочных взглядах, «антинаучных» или несостоятельных. Так, во времена СССР говорили о «патологическом антикоммунизме», «научной несостоятельности», «фальсификации фактов», «игнорировании исторических процессов» и т.п., см. [Bruchis 1988: 309]).

Еще мягче выражались, когда говорили, что «товарищ не понял» (скажем, недооценил преимущества социализма перед капитализмом и т.п.) – своеобразно смягченная оценка не очень высокого интеллекта противника. В академическом, не политическом дискурсе чаще в таких случаях говорят о том, что нечто у данного автора «непонятно» или «непонятно, что некто хотел сказать»: в этом саркастичном обороте вину как бы берет на себя интерпретатор. Еще больший эвфемизм граничит с искренностью – когда говорят: «Я действительно не понимаю...».

Отстранив таким образом оппонента от равноправного участия в обсуждении вопросов, оратор остается один на один со слушателем; при определенных режимах свободный обмен мнениями не предполагается, и политический дискурс не нацелен на диалог, см. [Morawski 1988: 11].

**4. Заключение**

Итак, интерпретируя политический дискурс в его целостности, нельзя ограничиваться чисто языковыми моментами, иначе суть и цель политического дискурса пройдут незамеченными. Понимание политического дискурса предполагает знание фона, ожиданий автора и аудитории, скрытых мотивов, сюжетных схем и излюбленных логических переходов, бытующих в конкретную эпоху. Поэтому, хотя термин «политологическое литературоведение» звучит сегодня необычно, а «политологическая лингвистика» давно завоевала свое право на существование, следует признать, что более интересного результата можно добиться только в рамках объединения этих дисциплин, то есть, от политологической филологии.

**Список литературы**

Badaloni N. 1984 – Politica, persuasione, decisione // Linguaggio, persuasione, verita. – Padova: Cedam (Milani), 1984. P. 3-18.

Bayley P. 1985 – Live oratory in the television age: The language of formal speeches // G. Ragazzini, D.R.B.P. Miller eds. Campaign language: Language, image, myth in the U.S. presidential elections 1984. – Bologna: Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 1985. P. 77-174.

Bell V. 1995 – Negotiation in the workplace: The view from a political linguist // A. Firth ed. The discourse of negotiation: Studies of language in the workplace. – Oxford etc.: Pergamon, 1995. P. 41-58. Bruchis M. 1988 – The USSR: Language and realities: Nations, leaders, and scholars. – N.Y.: Columbia University Press, 1988.

 Corbeill A. 1996 – Controlling laughter: Political humor in the late Roman republic. – Princeton; N.J.: Princeton University Press, 1996.

Coseriu E. 1987 – Lenguaje y politica // M. Alvar ed. El lenguaje politico. – Madrid: Fundacion Friedrich Ebert, Instituto de Cooperacion Iberoamericana, 1987. P. 9-31.

Duez D. 1982 – Silent and non-silent pauses in three speech styles // Language and Society, 1982, vol. 25, № 1. P. 11-28.

Garcia Santos J.F. 1987 – El lenguaje politico: En la Secunda Republica y en la Democracia // M. Alvar ed. El lenguaje politico. – Madrid: Fundacion Friedrich Ebert, Instituto de Cooperacion Iberoamericana, 1987. P. 89-122.

Grac J. 1985 – Persuazia: Oplyvkovanie cloveka clovekom. – Brno: Osveta, 1985.

Grunert H., Kalivoda G. 1983 – Politisches Sprechen als oppositiver Diskurs: Analyse rhetorisch-argumentativer Strukturen im parlamentarischen Sprachgebrauch // E.W. Hess-Luttich ed. Textproduktion und Textrezeption. – Tubingen: Narr, 1983. S. 73-79.

Guilhaumou J. 1989 – La langue politique et la revolution francaise: De l'evenement a la raison linguistique. – P.: Meridiens Klincksieck, 1989. Januschek F. ed. 1985 – Politische Sprachwissenschaft: Zur Analyse von Sprache als kultureller Praxis. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985.

Martinez Albertos J.-L. 1987 – El lenguaje de los politicos como vicio de la lengua periodistica // M. Alvar ed. El lenguaje politico. – Madrid: Fundacion Friedrich Ebert, Instituto de Cooperacion Iberoamericana, 1987. P. 71-87.

Miles L. 1995 – Preface // C. Schaffner, A.L. Wenden eds. Language and peace. – Aldershot etc.: Dartmouth, 1995. P. ix-x. Morawski L. 1988 – Argumentacje, racjonalnosc prawa i postepowanie dowodowe. – Torun: Universytet Mikolaja Kopernika, 1988.

Morik K. 1982 – Uberzeugungssysteme der Kunstlichen Intelligenz: Validierung vor dem Hintergrund linguistischer Theorien uber implizite Ausserungen. – Tubingen: Niemeyer, 1982.

Pocock J. 1987 – The concept of a language and the metier d'historien: Some considerations on practice // A. Pagden ed. The languages of political theory in early – modern Europe. – Cambr. etc.: Cambr. University Press, 1987. P. 19-38.

Rathmayr R. 1995 – Neue Elemente im russischen politischen Diskurs seit Gorbatschow // R. Wodak, F.P. Kirsch eds. Totalitare Sprache – langue de bois – language of dictatorship. – Wien: Passagen, 1995. S. 195-214.

Schopenhauer A. 1819/73 – Die Welt als Wille und Vorstellung: 1. Bd. Vier Bucher, nebst einem Anhange, der die Kritik der Kantischen Philosophie enthalt. 4. Aufl // A. Schopenhauer's samtliche Werke / Hrsgn. v. Julius Frauenstadt. 2. Aufl: Neue Ausgabe. Bd. 2. – Leipzig: Brockhaus, 1891.

Schrotta S., Visotschnig E. 1982 – Neue Wege zur Verstandigung: Der machtfreie Raum. – Wien; Hamburg: Zsolnay, 1982.

Todorov T. 1991 – Les morales de l'historique. – P.: Grasset, 1991. Volmert J. 1989 – Politikrede als kommunikatives Handlungsspiel: Ein integriertes Modell zur semantisch-pragmatischen Beschreibung offentlicher Rede. – Munchen: Fink, 1989.

Wierzbicka A. 1995 – Dictionaries and ideologies: Three examples from Eastern Europe // B.B. Kachru, H. Kahane eds. Cultures, ideologies, and the dictionary: Studies in honor of Ladislav Zgusta. – Tubingen: Niemeyer, 1995. P. 181-195.

**Примечания**

1. Термин «политический язык», по [J. Guilhaumou 1989: 10], начал широко употребляться с 1789 г., под влиянием книги Sieyes «Qu'est-ce que le Tiers Etat?”, первоначально в следующем узком смысле: политический дискурс, направленный на уничтожение привилегий.

2. Так, речь политика в интервью содержит в два раза больше значимых пауз, чем интервью других людей [D. Duez 1982: 11]; эти паузы у политиков к тому же более длительны, что позволяет сравнить такие интервью со сценической речью.

3. Т. Тодоров [T. Todorov 1991: 7-14] указывает, что приблизительно в 1789 г. произошло следующее изменение терминологии: вместо традиционного выражения «моральные и политические науки» (sciences morales et politiques) теперь говорят о «социальных науках» и о «науках о человеке» (sciences humaines); первым в этом был Кондорсе, теоретик новой концепции государства, а затем, через О. Комта, термины эти вошли в широкое употребление.

4. Недаром некоторые исследователи (напр., [Pocock 1987: 19]) полагают, что история политической мысли – это история политического дискурса, то есть, изменение речевых актов (устных или письменных), выполненных в рамках определенных конвенций, и изменение условий допустимости этих речевых актов.

5. В критические периоды истории по уничижительному употреблению оскорбительных именований можно иногда однозначно опознать партийную принадлежность говорящего. Так, во время Испанской республики 1932 г. коммунисты в пейоративном значении употребляли именования anarco-burgues «анархо-буржуазный», anarcofascista «анархофашист», socialfascista «социал-фашист»; представители левого крыла рабочего движения – burgues «буржуазный», cochino burgues «буржуазная свинья», senorito «господинчик», senorito de cabaret «кабаретный господинчик», fascista «фашист», hombre feliz «блаженный»; фашисты называли коммунистов parasitos «паразиты», convidados «приглашенные», semiosenoritos «полугосподинчики», zanganos «трутни», zanganos de casino «трутни из казино»; левое республиканское крыло именовало антиреспубликанцев cavernicolas «дремучие», cavernario «пещерные люди», trogloditas «троглодиты», paleopoliticos «палеополитики»; rupestres «растущие на скалах», cuaternarios «конокрады», prehistoricos «доисторические», rhinoceros «бегемоты», ursus «медведи», macacus «макаки», mamuts «мамонты», retrogrados «ретрограды», reaccionarios «реакционеры», obscurantistas «обскурантисты», neos «нео», trabucaires «мушкетеры», fanaticos «фанатики», cerriles «дикие», antipodas «антиподы», carcundas «мракобесища», raza latina «латинская раса», chacales «шакалы», bestias «бестии», alimanas «вредные звери», sapos «жабы», monas epilepticas «обезьяны-эпилептики»; а те отвечали им: tabernicolas «трактирщики», enchufistas «проныры», social enchufistas «социал-проныры», petroleros «поджигатели», pistoleros «головорезы», incendiarios «поджигатели», sectarios «сектанты», aventureros «авантюристы», caines «злодеи (Каины)», ambiciosos «честолюбцы», ladrones «воры», asesinos «убийцы», criminales «преступники», reptiles «рептилии», serpientes «змеи», crustaceos «ракообразные» [Garcia Santos 1987: 121-122]. Как видим, левые республиканцы любили обзывать антиреспубликанцев именами диких, «грубых» (неуклюжих или злых) замшелых животных; а антиреспубликанцы часто именовали левых республиканцев ползающими животными и преступниками-террористами.